

Ссылка на материал: <https://ficbook.net/readfic/2188573>

## Бог - это власть

**Направленность:** Джен

**Автор:** Рене Римских (<https://ficbook.net/authors/799876>)

**Фэндом:** Оруэлл Джордж «1984»

**Рейтинг:** PG-13

**Жанры:** Ангст, Даркфик, Антиутопия

**Размер:** Мини, 3 страницы

**Кол-во частей:** 1

**Статус:** закончен

**Описание:**

«Если есть ад, то он – здесь», - думал он...

**Публикация на других ресурсах:**

Уточнять у автора/переводчика

# ТОС

ТОС	2
Часть 1	3

# Часть 1

«Если есть ад, то он – здесь», - думал он, когда его – ненадолго! о, всегда так ненадолго! – оставляли в покое. Эта мысль ничего не меняла. Он был виновен, он оставался виновен: об этом ежедневно напоминала ему боль, которую будто бы не причиняли всякий раз заново, а извлекали из глубин измученного тела: стертая, притупленная, монотонная до невольной скуки. Он был виновен, хоть и не мог утверждать с уверенностью ни теперь, ни прежде, в чем именно; он оставался виновен, и в свете тех чудовищных признаний и отречений, что вымогались у него на допросах, еще одно преступление роли не играло. Зато в нем было некое извращенное утешение: религиозный архаизм, запретный, как и прочие дореволюционные пережитки, придавал происходящему подобие справедливости.

- Кто вы?

- Венделин Дарри.

- Увести.

Впрочем, подобие справедливости при должном желании угадывалось во всем, даже в кратком обмене репликами, за которым следовал ад. Он назвал свое буквенное имя, а оно, разумеется, уже не существует, еще не существует, как не существует – еще, уже - и его самого; оно вырезано равно из прошлого, настоящего и будущего; *если* оно и есть на самом деле, то лишь условно, для удобства дознавателей.

- Кто вы?

- Четыреста – восемь – одиннадцать – девятнадцать.

- Уведите.

И это тоже было справедливо. Нагрудную пластину с номером-идентификатором у него отобрали при аресте и здесь, в подвальных недрах министерства, номер, должно быть, присвоили другой, но он или забыл, или и вовсе не знал его. Однако пытаться воспользоваться старым в любом случае было ошибкой.

Тогда-то он и усомнился впервые, что сойдет с ума от неослабных истязаний. Теперь он боялся, что сойдет с ума оттого, что они правы. Оттого, что изобретенная им для собственного успокоения справедливость окажется подлинной справедливостью. «Если они не правы, то рано или поздно выдадут себя, - думал он. - Ничтожная погрешность, смехотворный пустяк... что обычно и в расчет-то не принимается, если не бывал по ту сторону решеток. Если я прав, а они не правы – они выдадут себя».

- Кто вы?

- Не знаю! Не знаю! Не знаю!

Секундная заминка.

- Достаточно.

И знакомый кивок надзирателю.

Опять обжигал свет, разъедая, точно кислотой, инстинктивно смыкавшиеся веки, и плавилась краска, черной испариной вспухая на корпусе лампы, и слова сыпались с языка и становились действием, не успев отзвучать. Но секундная заминка что-то стронула в заведенном порядке. Его прекратили пытаться. Ему разрешили говорить правду – его правду.

- Вам известно, где вы находитесь?

- В Министерстве любви.

- Вам претит это название, не так ли? Вы полагаете, что оно порочно. Что в нем таится либо утонченная издевка, либо наивная нелепость. Но не приходило ли вам в голову, что мы действительно взращиваем в людях любовь?

Он будто бы спросил: любовь к кому?

- К отчизне, к Старшему Брату, к Партии – ко всему, что вы столь опрометчиво решились отвергнуть. Но вы излечимы. Все излечимы. Мы можем всё.

- Любовь, возвращенная насилем... разве она останется любовью?

- Почему нет? Материал вторичен. Когда вы читаете книгу, разве важно вашим глазам, набрана ли она версификатором или написана человеком, как то водилось в былые, неорганизованные времена? Когда вы едите, разве важно вашему желудку, естественного или искусственного происхождения пища, если она сытна и полезна? Когда вы истекаете кровью, разве важно вашим сосудам, перевязывают их шелком или кетгутотом? И тем более – была ли эта хирургическая нить сделана честным рабочим или предателем, саботажником, врагом народа, если качество ее безупречно?

Он не сумел удержать усмешки, а потом, осмелев от безнаказанности, с толикой яда ответил на заключительный вопрос:

- Для меня это должно быть важно.

- Что ж, вы выздоравливаете.

«Это не обо мне, - думал он. – Это о моей оболочке, которую они же и искалечили, но не обо мне». Думать так было легче всего. Думать так было надежнее всего.

Свежая кожа понемногу закрывала раны – белая, тонкая, нисколько не похожая на свалевшийся войлок рубцовой ткани; губы, разбитые и как попало склеенные заново, не запечатлели линий надрыва. Ему приносили зеркало – лицо его отражалось гладким и чистым, как о том ранее оповестили прикосновения: точно левая половина и не была некогда онемелой слизистой массой, трепетным желе в прожилках разломов и трещин. А ведь тогда он так же ощупывал разможенную скулу, и ему так же вкладывали в руки зеркало, и он видел воочию то же, что, содрогаясь от ужаса, внушали ему подушечки пальцев: кровавый студень, рыхлое, волокнистое мясо, мясо на косточке... выщербленной, расщепленной, вывихнутой... парное, росистое мясо... и зубы не пригодятся, растает во рту само... Быть может, в тот момент он и перестал считать слезы унижением, убедившись, что бывают вещи стократ унижительнее. Он рыдал тогда не от жалости к себе, а от голода – от одного лишь голода, который терзал его так сильно, что и собственную исковерканную плоть заставил рассматривать сквозь призму желанного насыщения, и ничего нельзя было с этим поделать.

Однако разрушенные кости срослись, к ослепшему глазу вернулось зрение – когда сойдут последние повязки, не останется ни единого доказательства, ни единого подтверждения его пребывания в аду. Это было бы разумно – но не ныне, а когда-то давно, когда любой – и любой из них в том числе – мог предстать перед судом. Поэтому он предполагал, что часть шрамов ему все-таки сохранят – постыдных, укромных, о которых ведомо будет только их обладателю. Явные увечья, несмываемые, увечья напоказ – удел героев, мета воинской славы, признак бесстрашия...

«Мы можем все», - предупреждали они. Что ж, в этом они не солгали. Наверно, им и мертвого воскресить нетрудно, если иной раз перестараятся с доводами в свою пользу. Думать так было легче всего. Думать так было опаснее всего.

- Кто вы?

- Никто! Кто вам угодно...

- Уже лучше.

«Все мы любим поиграть», - думал он, с вызывающей отчетливостью представляя каждый завиток письменного начертания, не повторяя – перечитывая фразу, когда ему хотелось к ней вернуться. Его память не была более памятью – он превратил ее в дневник. Плюс проступок – по нормам современного языка, правда, уместнее было

сказать, напротив, *минус* – даже *минусминус*. Не дневник ли – классический дневник, тайный сговор бумаги и чернил – и привел его сюда? С появлением дневника внутреннего это теряло какое-либо значение.

- Известно ли вам, почему в Евразии, а равно в Океании и Остзии столь низок процент самоубийств?

- Потому что все мы любим поиграть. Все мы свято чтим непреложный игровой закон: в игре с нами ничего не случается всерьез. Мы поправили его на новый лад, сообразно новому миру: в игре *со мной* ничего не случится всерьез, - и живем по нему, парадоксальные индивидуалисты, лишённые подлинной индивидуальности.

До ареста он тоже верил, хоть и не сознавал того, - что с ним-то уж точно ничего не случится всерьез. И потому ради собственного спасения он готов был предать всех и каждого, в непритворном побуждении выкрикнуть: «Возьмите их, убейте, замучайте или позвольте сделать это мне!» - но в действительности предавать ему было некого, кроме себя самого.

- Вам известно, почему в Евразии, а равно в Остзии и Океании столь низок процент самоубийств?

Его не тревожили, им почти не интересовались, все реже его взгляд встречал их каменные подбородки, их оцепенелый прищур гипсовой статуи; эта скульптурная оторочка, эта человеческая мебелировка оставалась лишь за дверью. Они тоже были в игре, пусть и играли по особым правилам; они, прилежные палачи с отступником, так же прилежно распахнут для него объятия, когда он излечится, одинаково искренние и в жестокости, и в приязни.

Однако он еще не отрекся, ни умом, ни сердцем, от своих крамол, в чем бы они ни состояли; он упорствовал в виновности и не понимал причин промедления. Или ему нужно было заговорить, чтобы понять, чтобы удивительное подозрение забрезжило перед ним: он сумел на мгновение, на долю вечности одержать верх – не потому, что оказался крепче духом или выносливее прежних жертв, не потому, что методам карателей недоставало тонкости или точности, а просто оттого, что он был тем, кем он был, помимо собственной воли.

- За что вы здесь?

- За что угодно и ни за что вовсе, но это одно и то же.

- Знаете ли вы, что вас ждет?

- Знаю. Всё, кроме смерти.

- Откуда у вас такая уверенность?

- Если смерть – несуществование, то я мертв сейчас, в ваших стенах, и буду мертв до тех пор, пока не стану подобен вам, а когда стану – исчезнет сама необходимость умирать. Даже если это произойдет однажды – ходят слухи, что люди смертны, - я продолжу жизнь в других, ведь моего «я» больше не будет, и я стану *мы*...

- Вам известно, какими средствами мы достигнем цели?

- Все знают, что делается в комнате сто один! Но что вы сделаете, что вы будете делать, если для меня хуже всего на свете, если крошечный мой страх – утратить себя, уподобиться вам?

Молчание. И – что это? Улыбка?

- Нет, Венделин. Ваш страх устарел – в тот же миг, как вы его разоблачили. Теперь вы боитесь утратить не себя, но его. А с этим мы справимся.